



А. Дмитровский

О «Медном всаднике»

Полемиические заметки

Не перестаешь изумляться судьбе этого произведения, не признанного верховным цензором Николаем I при жизни поэта и потом с немалым трудом пробившего путь к читателю в своем подлинном тексте, но ставшего в конечном счете предметом наиболее глубоких литературоведческих исследований и судьбоносных размышлений философско-исторического порядка. Вправду, в «Медном всаднике» сущность литературы как эстетического феномена и судьба России, Родины, сошлись в своем нерасторжимом взаимоотражающем единстве, в результате чего по сей день, как сказал Блок, «все мы находимся в вибрациях его меди». Статья профессора Л. А. Калининкова «Кантианские мотивы в "Медном всаднике" А. С. Пушкина» составляет новый этап постижения шедевра, поскольку его художественный мир впервые рассматривается в кардинальных свойствах рассудка и разума и принципов антиномического мышления. Преимущество этого подхода в том, что он направлен на преодоление распространенной односторонней акцентировки «государственнического» или «гуманистического» начала в поэме с неизбежной в таком случае тенденциозностью выводов. Но любой значительный шаг в научном исследовании не только дает новые ответы на представляющиеся уже решенными вопросы, но и порождает массу новых вопросов и в предмете исследования, и в части самой предлагаемой методологии. Так, сравнительное рассмотрение отрывка «Смотр войск» в поэме Мицкевича «Дзяды» и «Медного всадника» Пушкина в категориях рассудочной однозначности и антиномий разума является безусловным достижением автора. Но поиск глубинного синтеза антиномических посылок в сюжетно-образной структуре пушкинской поэмы и некоторые ключевые акцентировки в поэтических образах побуждают к полемике.

Следует начать с того, что думы и мечты Евгения о семейном жизненном устроении выходят далеко за пределы ситуативно-эмпирического рассудка и приобретают разумный характер, поскольку семья — это исходная и фундаментальная основа человеческого существования, а моло-

дость и здоровье, которые фиксирует у себя герой, — действительно условие жизненного процветания. И готовность трудиться (именно *трудиться*, то есть преодолевать трудности) для блага семьи — также решающее условие человеческого существования. Столь же разумно-перспективна мысль Евгения о своей явно многодетной семье в трех расширяющихся поколениях. Ведь он мечтает о *воспитании* (еще одном ключевом жизнестроительном условии) *ребят* (не случайно во множественном числе). И в его мечтах *внуки*, которые по патриархально-разумным законам бытия призваны хоронить своих предков, тоже обозначены множественным числом. Поэтому было бы трудно согласиться с предельно суровой характеристикой главного персонажа пушкинской поэмы, и, соответственно, трактовка взгляда Пушкина на своего героя нуждается в уточнении. Как полагает исследователь, принципиальное различие поведения двух героев поэмы, Петра и Евгения, означает, что поэт «может быть на стороне лишь одного из них». Но это противоречит самому принципу антиномического подхода. Также не следует слова о том, что Евгений страшился *не за себя*, переадресовывать голосу его чуть ли не трусливой совести, так как это несомненно прямая авторская оценка самоотверженного чувства героя.

По сюжету Евгений оказывается в ситуации трагической невозможности спасительного действия, и не представляется убедительным любое соотнесение Евгения с Наполеоном, даже пародийное, поскольку абсолютная чуждость Евгению наполеоновского комплекса самоочевидна, хотя он и сидит на звере мраморном, *руки сжав крестом*. Интересно, что в статье А. Б. Перзекке, опубликованной несколькими месяцами ранее статьи Л. А. Калининкова, насчет позы Евгения читаем: «Бледность и скрепленные руки — это печать смерти, а не пародирование Наполеона» [1, с. 55]. А еще раньше О. Н. Павляк комментировала эту ситуацию следующим образом: «Он не просто складывает руки крестом, он их "сжимает", и в этом сосредоточение всей его воли — крестом защитить своих близких, ведь страх его, как говорится в поэме, "не за себя"» [2, с. 37]. Думается, что дело обстоит именно так, и поэтому невозможно согласиться с отказом Евгению в глубоком авторском и, соответственно, нашем читательском сочувствии. К тому же оценка данного отношения как «жалостливо-саркастического» и «иронично снисходительного» [3, с. 34] (выделено мною. — А. Д.) не согласуется с самооценкой Пушкина в том, что он «милость к падшим призывал». И еще вспомним нерасторжимо единую мысль автора и его героя: *Вдова и дочь, его Параша*. Ведь не случайно у Пушкина в предельно напряженно-страдательном воображении героя на первом месте стоят обобщающие номинации вдовы и дочери, как наиболее, говоря по-современному, незащищенной части населения, и более того — первой стоит вдова, как уже много пострадавшая в жизни, а дочь

за ней, и только за всем этим следует его личная трагедия, *его Параша*. Здесь беда Евгения в том, что он оказался в положении трагической невозможности оказания помощи. Что он мог предпринять для спасения? Пуститься вплавь сквозь «волны страшные»? Когда, к тому же, заветный домик был недосыгаемо далеко...

Конечно, сойти с ума может каждый, но, вероятно, не каждое безумие может быть художественно типизировано в масштабах философско-исторического постижения. Для этого нужны масштабы короля Лира или... Или пушкинского Евгения. Или сказать по-другому: чтобы сойти с ума, надо обладать **тем**, с чего можно сойти. И Евгений в своих жизненных планах **этим** располагал.

Эпизодический образ перевозчика не привлекал внимания исследователей, и тем более ценно и интересно обращение к нему Л. А. Калининкова. Исследователь убежден, что «перевозчик этот был бы соратником Петра, случись ему жить на сто лет раньше или Петру на такой же срок позднее» [3, с. 35]. Положим, что так, поскольку перевозчик, по тексту, действительно *опытный* и бесстрашен в смертельно опасной переправе. Это целиком в духе Петра. Но одновременно, также по тексту, он *беззаботный*, то есть совершающаяся на его глазах катастрофа ему, как говорят сейчас, «до лампочки». И он, а не Евгений, действительно где-то «отсиживается». Ведь герою пришлось звать перевозчика — на рабочем месте его не было. А уж ему ли, при его опытности и бесстрашии, не спасти тонущих людей, как, по преданию, это делал сам царь Пётр. И совершать это по зову совести и бескорыстно, не *за гривенник*, который он не упустил случая сорвать с бедняка. А не окажись, на беду, в кармане у Евгения гривенника?.. Поэтому отношение автора к данному персонажу представляется достаточно антиномичным, а доведись ему жить не в 1824 году, а в 2010-м — вопрос о его действиях в катастрофических лесных пожарах остается открытым.

В целом в поэме прослеживается подлинная национальная драма в пяти типах нравственно-психологической реакции на надвигающееся, свершающееся и только что свершившееся *злое бедствие*, из которых четыре действительно оказываются на уровне сугубо эмпирического, в том числе спекулятивно-озабоченного рассудка, а пятый — в области трагически неразрешимых антиномий. В первую очередь, это полное непонимание людьми грозящей катастрофы, незнание, как с ней бороться и даже более того — роковая зачарованность ее приближением. Вспомним: *Теснился кучами народ, // Любуясь брызгами, горами // И пеной разъяренных вод*. Далее видим бесчувственно-холодное, а при случае и корыстно-заинтересованное отношение тех, кого катастрофа непосредственно не коснулась, и таких даже большинство — *народ с своим бесчувствием холодным*, как в очередном изводе знаменитой ремарки «народ безмолвствует».

В-третьих, это смутная печаль и созерцательно-рефлексивная скорбь, олицетворяемая *покойным царем* как носителем слабой власти. И в-четвертых, собственно литературное паразитирование на национальном бедствии в видах личной славы — в ироническом изображении *граф Хвостов, поэт, любимый небесами*, поющий своими *бессмертными стихами*. И вот Евгений, реакция которого на происходящее глубоко страдательная, а гуманистическое страдание заведомо разумно. И последняя позиция, олицетворяемая самим Петром в его художественно-историческом изводе медного всадника. Здесь мы полностью солидаризируемся с утверждением Л. А. Калининкова, что Пётр, в трактовке Пушкина, «не сумел преодолеть фундаментальных антиномий истории», что «он нес в себе как тезис, так и антитезис этих противоречий» [3, с. 37], то есть трагическая в своих последствиях несовместимость определяющей роли государства в жизни людей и функционально-служебной роли государства. И также целиком соглашаемся с автором в его определении главного смысла поэмы: «Малый должен быть опорой великому, когда великий сам опирается на малых и действует в конечном счете в их интересах — только так народы творят великие исторические дела, утверждая себя в вечности. Разрыв между ними — между малым и великим — чреват исчезновением из истории не только великих, но и самих малых» [3, с. 37]. Глубоко пророческий характер этого пушкинского свидетельства в отечественной истории у нас налицо.

Список литературы

1. *Перзекке А. Б.* Фольклорно-мифологические мотивы образа Евгения в поэме А. С. Пушкина «Медный всадник» // *Филология и человек*. 2010. № 1. С. 50—59.
2. *Павляк О.* Поэма Пушкина «Медный всадник» в контексте Книги Откровения Иоанна Богослова // *Эпоха. Текст. Контекст*. Калининград, 2007. С. 34—42.
3. *Калининков Л. А.* Кантианские мотивы в «Медном всаднике» А. С. Пушкина // *Кантовский сборник*. 2010. № 2 (32). С. 17—38.

